

**Сигизмунд Доминикович
Кржижановский**

Возвращение Мюнхгаузена

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Сигизмунд Доминикович Кржижановский

Возвращение Мюнхгаузена / Сигизмунд Доминикович Кржижановский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 76 с.

ISBN 978-5-4241-2548-5

«Прозеванным гением» назвал Сигизмунда Кржижановского Георгий Шенгели. «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность», – говорил о себе сам писатель. Он не увидел ни одной своей книги, первая книга вышла через тридцать девять лет после его смерти. Сейчас его называют «русским Борхесом», «русским Кафкой», переводят на европейские языки, издают, изучают и, самое главное, увлеченно читают. Новеллы Кржижановского – ярчайший образец интеллектуальной прозы, они изящны, как шахматные этюды, но в каждой из них ощущается пульс времени и намечаются пути к вечным загадкам бытия.

ISBN 978-5-4241-2548-5

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Сигизмунд Кржижановский
Возвращение Мюнхгаузена

Глава 1

У всякого барона своя фантазия

Прохожий пересек Александер-плац и протянул руку к граненым створам подъезда. Но в это время из звездой сбежавшихся улиц кричащие рты мальчишек-газетчиков:

- Восстание в Кронштадте!
- Конец большевикам!

Прохожий, сутуля плечи от весенней зяби, сунул руку в карман: пальцы от шва до шва – черт! – ни феннига. И прохожий рванул дверь.

Теперь он подымался по стлани длинной дорожки; вдогонку, прыгая через ступеньки, грязный след.

На повороте лестницы:

- Как доложить?
- Скажите барону: поэт Ундинг.

Слуга, скользя взглядом со стоптанных ботинок посетителя к мятой макушке его рыжего фетра, переспросил:

- Как?
- Эрнст Ундинг.
- Минуту.

Шаги ушли – потом вернулись, и слуга с искренним удивлением в голосе:

- Барон ждет вас в кабинете. Пожалуйста.
- А, Ундинг.
- Мюнхгаузен.

Ладони встретились.

– Ну вот. Придвигайтесь к камину.

С какого конца ни брать, гость и хозяин мало походили друг на друга: рядом – подошвами в каменную решетку – пара лакированных безукоризненных лодочками туфель и знакомые уже нам грязные сапоги; рядом – в готические спинки кресел – длинное с тяжелыми веками, с породистым тонким хрящем носа, тщательно пробритое лицо и лицо широкоскулое, под неряшливыми клочьями волос, с красной кнопкой носа и парой нажившихся ресницами зрачков.

Двое сидели, с минуту наблюдая пляску синих и алых искр в камине.

– На столике сигары, – сказал наконец хозяин.

Гость вытянул руку: вслед за кистью поползла и мятая в цветные полоски манжета: стукнула крышка сигарного ящика – потом шорох гильотинки о сухой лист, потом серый пахучий дымок.

Хозяин чуть скосил глаза к пульсирующему огоньку.

– Мы, немцы, не научились обращаться даже с дымом. Глотаем его, как пену из кружки, не дав докружить и постлаться внутри чубука. У людей с короткими сигарами в зубах и фантазия кургуза. Вы разрешите?..

Барон, встав, подошел к старинному шкафу у стены, остро тенькнул ключик, резные тяжелые створы распахнулись – и гость, повернувшись глазами и огоньком вслед, увидел: из-за длинной и худой спины барона на выгибах деревянных крючьев шкафа старый, каких уже не носят лет сто и более, в потертом шитье, камзол; длинная шпага в обитых ножнах; изогнутая в бисерном чехле трубка; наконец, тощая, растерявшая пудру косица, срезом вниз – бантом на

крюке.

Барон снял трубку и, оглядев ее, вернулся на старое место. Через минуту кадык его выпрыгнул из-под воротничка, а щеки вытянулись внутрь навстречу дыму, переползавшему из чубука в ноздри.

– Еще меньше мы смыслим в туманах, – продолжал курильщик меж затяжками, – начиная хотя бы с туманов метафизических. Кстати, хорошо, Ундинг, что вы заглянули сегодня: завтра я намереваюсь нанести визит туманам Лондона. Заодно и живущим в них. Да, белесые флеры, поднимающиеся с Темзы, умеют расконтуривать контуры, завуалировать пейзажи и мирозозерцания, заштриховать факты и... одним словом, еду в Лондон.

Ундинг встопорщил плечи:

– Вы несправедливы к Берлину, барон. Мы тоже кое-чему научились, например, эрзацам и метафизике фикционализма.

Но Мюнхгаузен перебил:

– Не будем возобновлять старого спора. Кстати, более старого, чем вам мнится: помню, лет сто тому назад – мы проспорили всю ночь с Тиком на эту тему, правда, в иных терминах, но меняет ли это суть? Он сидел, как вот вы, справа от меня и, стуча трубкой, грозился ударить снами по яви и развезть ее. Но я напомнил ему, что сны видят и лавочки, а веревка под лунным светом хотя и похожа на змею, но не умеет жалить. С Фихте, например, мы пререкались куда меньше. «Доктор, – сказал я философу, – с тех пор, как не-я выпрыгнуло из я, ему следует почаще оглядываться на свое *откуда*». В ответ герр Иоганн вежливо улыбнулся.

– Разрешите мне улыбнуться не столь вежливо, барон. Это противится критике не больше, чем одуванчик ветру. Мое «я» не ждет, когда на него оглянется «не-я», – а само отворачивается от всяческих н е. Так уж оно воспитано. Моей памяти не дано столетий, – поклонился он в сторону собеседника, – но нашу первую встречу, пять недель тому, я как сейчас помню и вижу. Доска столика под мрамор, случайное соседство двух кружек и двух пар глаз. Я – глоток за глотком, вы же сидели, не касаясь губами стекла, и только изредка – по нашему кивку – кельнер на место невыпитой кружки приносил другую, оставшуюся тоже невыпитой. Когда хмелем чуть замглило голову, я спросил, что вам, собственно, надо от стекла и пива, если вы не пьете. «Меня интересуют лопающиеся пузырьки, – отвечали вы, – и когда они все лопнут, приходится заказывать новую порцию пены». Что ж, всякий развлекается на свой лад, мне вот в этой жиже нравится ее поддельность, суррогатность. Пожав плечами, вы оглядели меня – напоминаю вам это, Мюнхгаузен, – как если бы и я был пузырьком, прилипшим к краю вашей кружки...

– Вы злопамятны.

– Я памятьлив на всякое: до сих пор еще в моем мозгу кружит пестрая карусель, завертевшаяся там, у двух сдвинутых кружек. Мы пересекали с вами моря и континенты с быстротой, опережающей кружение Земли. И когда я, как мяч меж теннисных ракеток, перешвыриваемый из стран в страны, из прошлого в грядущее и отбиваемый назад, в прошлое, выпав случайно из игры, спросил: «Кто вы такой и как вам могло хватить жизни на столько странствий?» – вы – с учтивым поклоном – назвали себя. От поддельного пива и опьянение поддельно и запутывающе, реальности лопаются, как пузыри, а фантазмы втискиваются на их

место, – вы иронически качаете головой? Но знаете, Мюнхгаузен, – между нами – как поэт, я готов верить, что вы – *вы*, но как здравомыслящий человек...

В разговор всверлился телефонный звонок. Мюнхгаузен протянул длиннопающую руку, с овалом лунного камня на безмянном, к аппарату:

– Алло! Кто говорит? А, это вы господин посол? Да, да. Буду, через час.

И трубка легла на железные вилки.

– Видите ли, любезный Ундинг, признание поэтом моего бытия мне чрезвычайно льстит. Но если бы вы даже перестали верить в меня, Иеронима фон Мюнхгаузена, то дипломаты не *перестанут*. Вы подымаете брови: почему? Потому что я им необходим. Вот и все. Бытие де-юре, с их точки зрения, ничем не хуже бытия де-факто. Как видите, в дипломатических пактах гораздо больше поэзии, чем во всех ваших виршах.

– Вы шутите.

– Ничуть: на жизнь, как и на всякий товар, спрос и предложение. Неужели вас не научили этому газеты и войны? И состояние политической биржи таково, что я могу надеяться не только на жизнь, но и на цветущее здоровье. Не торопитесь, друг мой, зачислять меня в призраки и ставить на библиотечную полку. Да-да.

– Что ж, – усмехнулся поэт и оглядел длинную, с локтями на поручнях кресла, фигуру собеседника, – если акции мюнхгаузиады идут вверх, я, пожалуй, готов играть на повышение: до степени бытия включительно. Но меня интересует конкретное *как*. Конечно, я признаю некую диффузию меж быльё и небыльё, явьё в «я» и явьё в «не-я», но все-таки как могло случиться, что вот мы сидим и беседуем без помощи слуховой и зрительной галлюцинации. Мне это важно знать. Если в слове «друг», подаренном вами мне, есть хоть какой-нибудь смысл, то...

Мюнхгаузен, казалось, колебался.

– Исповедь? Это скорее в стиле блаженного Августина, чем барона Мюнхгаузена. Но если вы требуете... только разрешите хоть изредка, иначе я не могу, из тины истины в вольный фантазм. Итак, начинаю: представьте себе этакий гигантский циферблат веков; острие его черной стрелы – с деления на деление – над чередой дат; сидя на конце стрелы, можно разглядеть проплывающие снизу: 1789–1830–1848–1871 – и еще, и еще, – у меня и сейчас еще рябит в глазах от бега лет. Теперь вообразите, любезный друг, что ваш покорный слуга, охватив коленями вот эту самую, повисшую над сменой годов (и всего, что в них) стрелу, кружит по циферблату времени. Да, кстати, крючья шкафа, который я забыл запереть, помогут вам увидеть тогдашнего меня яснее и детальнее: коса, камзол, шпага, свесившись над циферблатом, качается от толчков. А толчки стрелой о цифры все сильнее и сильнее: на 1789 крепче стискиваю колени, на 1871 приходится и руками и ногами за края стрелы, но с 1914 тряска цифр делается невыносимой: ударившись о 1917 и 1918, теряю равновесие и, понимаете ли, сверкнув пятками, вниз.

Навстречу – сначала неясные, потом вычтывающиеся сквозь воздух пятна морей и континентов. Протягиваю руку, ища опоры: воздух и ничего, кроме воздуха. Вдруг – удар о ладони, сжимаю пальцы – в руках у меня шпиль – представьте себе, обыкновенный, как игла над наперстком, надкупольный шпиль. Над головой – в двух-трех футах – флюгер. Подтягиваюсь на мускулах. Легким ветерком флюгер поворачивает из стороны в сторону – и я могу спокойно оглядеть

распластавшуюся под моими подошвами в двух-трех десятках метров ниже землю: радиально расчерченные дорожки, мраморные марши, стриженные ше-ренги деревьев, прозрачные гиперболы фонтанных струй – все это как будто уж знакомо, не в первый раз. Скольжу по шпилью вниз и, усевшись на дымовой трубе, внимательно оглядываю местность: Версаль, ну конечно же. Версаль, и я на краю Трианона. Но как сойти? Упругие пары дыма, скользящие по моей спине, подсказывают мне простой и легкий способ. Напоминаю: если я теперь, так сказать, оброс и приобрел некоторую весомость, то в тот первый дебютный день я был еще немногим тяжелее дыма: и я ныряю в дымовой поток, как водолаз в воду, и плавно опускаюсь, – я вскоре у дна, то есть, отбрасывая метафоры, внутри камина – такого же, как вот этот (лакированный туфель рассказчика ткнул носком в чугунную решетку, огни за которой уже успели отлеть). Я огляделся: никого. Вышагнул наружу. Камин находился, если судить по заставленным книгами и папками длинным сплошным полкам, в библиотеке дворца. Я прислушался: за стеной шумдвигаемых кресел, потом тишина, размеченная лишь дробным стуком маятника, потом заглушенный стеной чей-то ровный шаркающий по словам, как туфли по половицам, голос. Мне, человеку, свалившемуся со стрелы на циферблат, конечно, еще не было известно, что это одно из заседаний Версальской конференции. На библиотечном столе картотека, последние номера газет и папки с протоколами. Я тотчас же погрузился в чтение, быстро ориентируясь в политическом моменте, когда вдруг за стеной – шум раздвигаемых стульев, смутные голоса и чей-то шаг к порогу библиотеки. Тут я... нет, видно, еще раз придется навесить старый шкаф.

И Эрнст Ундинг, наклонившийся всем корпусом навстречу рассказу, следил нетерпеливыми глазами, как барон, прервав рассказ, не торопясь приблизился к торчавшим из глубины шкафа крючьям и опустил руку в топорщящийся карман старинного камзола.

– Ну вот, – повернулся Мюнхгаузен к гостю. В протянутой его руке адело сафьяном небольшое в золотом обресе с кожаными наугольниками ин-октаво. – Вот вещь, с которой я редко расстаюсь. Полюбуйтесь: первое лондонское издание еще 1783 года.

Он отогнул ветхий истертый переплет. Зрачки Ундинга, вспрыгнув на титул-латт, скользнули по буквам: «Рассказы барона Иеронимуса фон Мюнхгаузена о его чудесных приключениях и войнах в России». Переплет захлопнулся, и книга поместилась рядом с рассказчиком на разлапистой ручке кресла:

– Боясь прослыть за шпиона, неизвестно как подобравшегося к дипломатическим тайнам, – продолжал Мюнхгаузен, снова отыскав подошвами край каминной решетки, – я поспешил спрятаться: открыв свою книгу – вот так, – я насутулился, подобрал ноги к подбородку, голову в плечи, сжался, сколько мог, и впрыгнул меж страниц, тотчас же захлопнув за собой переплет, как вы, скажем, захлопываете за собой дверь телефонной будки. В этот миг шаги переступили порог и приблизились к столу, на котором, сплюсшившись меж шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой страницами, находился я.

– Должен вас перебить, – привскочил с кресла Ундинг, – как вы могли укоротиться до размеров вот этой книжечки? Это во-первых, а...

– А во-вторых, – ударил ладонью по сафьяну барон, – я не терплю, когда меня перебивают... И, в-третьих, плохой же вы, клянусь трубкой, поэт, если не

знаете, что книги, если только они книги, иногда *соизмеримы*, но никогда не *соразмерны* действительности!

– Допустим, – пробормотал Ундинг.

И рассказ продолжался:

– Случаю было угодно, что человек, чуть не заставший меня враспloch (кстати, это был один из онеров трепаной дипломатической колоды), привел и себя и меня к новому расплоху: пальцы дипломатического туза, отыскивая какую-то там справку, скользя от переплетов к переплетам, нечаянно зацепили за сафьяновую дверь моего убежища, страницы разомкнулись, и я, признаюсь в некотором смущении, то растрехмериваясь, то снова плющась, не знал, как быть. Туз вырвал сигару изо рта и, откинув руки, опустился в кресло, не сводя с меня круглых глаз. Делать было нечего: я вышагнул из книги и, сунув ее себе под мышку, вот так, сел в кресло напротив и придвинулся к дипломату, колени к коленям. «Историки запишут, – сказал я, ободряюще кивнув, – что открыли меня вы». Отыскав слова, он наконец спросил: «С кем имею?» Я опустил руку в карман и молча протянул ему вот это.

Прямо против глаз откинувшегося к спинке Ундинга проквадратилась визитная карточка – готическим шрифтом по плотному картону:

барон

ИЕРОНИМУС фон МЮНХГАУЗЕН

Поставка фантазмов и сенсаций.

Мировым масштабом не стесняюсь.

Фирма существует с 1720.

Пять строк, постояв в воздухе, перекувырнулись в длинных пальцах барона и исчезли. Маятник стенных часов не успел качнуться и десяти раз, как рассказ возобновился:

– Во время паузы, длившейся не дольше этой, я успел заметить, что выражение лица дипломатического лица меняется в мою пользу. Пока его мысль – из большой посылки в малую, я услужливо пододвинул вывод: «Более нужного человека, чем я, вам не сыскать. Верьте честному слову барона фон Мюнхгаузена. Впрочем...» – и я раскрыл свое ин-октаво, готовясь ретироваться, так сказать, из мира в мир, но дипломат поспешно ухватил меня за локоть: «Ради бога, прошу вас». Ну что ж, подумав, я решил остаться. И мое старое обжитое место, вот тут – между шестьдесят восьмой и шестьдесят девятой – не угодно ли взглянуть, – опустело: думаю, надолго, а то навсегда.

Ундинг взглянул: на отогнутой странице меж разомкнувшихся абзацев из тонких типографских линеек длинная рамка: но внутри рамки лишь пустая белая поверхность книжного листа – иллюстрация исчезла.

– Ну вот. Моя карьера, как вам это, вероятно, известно, началась со скромного секретарства в одном из посольств. А затем... Впрочем, минутная стрелка различает нас, любезнейший Ундинг. Пора.

Барон нажал кнопку. В дверях просунулись баки лакея.

– Подайте одеться.

Баки – в дверь. Хозяин поднялся. Гость тоже.

– Да, – протянул Мюнхгаузен, – они сняли у меня мой камзол и срезали мне косицу. Пусть. Но запомните, мой друг, настанет день, когда эту вот ветошь (длинный палец, блеснув лунным овалом, пророчески протянулся к раскрытому

шкафу), эту вот тлень, сняв с крючьев, на парчовых подушках, в торжественной процессии, как священные реликвии, отнесут в Вестминстерское аббатство.

Но Эрнст Ундинг отвел глаза в сторону:

– Вы перефантазировали самого себя. Отдаю должное – как поэт.

Лунный камень опустился книзу. Нежданно для гостя лицо хозяина сплиссировалось в множество смеющихся складочек, как-то сразу старея на столетия, глаза сощурились в узкие хитрые щелочки, а тонкий рот, разжавшись, обнажил длинные желтые зубы:

– Да-да. Еще в те времена, когда я жывал в России, они сложили про меня поговорку: у всякого барона своя фантазия. «Всякого» это позднее присказалось, – имена ведь, как и иное все, затериваются. Во всяком случае, льщу себя надеждой, что я шире и лучше всех других баронов *использовал право на фантазию*. Благодарю вас, и тоже, как поэт поэта.

Цепкая сухая ладонь схватила пальцы Ундинга:

– И как хотите, друг: можете верить или не верить Мюнхгаузену и... в Мюнхгаузена. Но если вы усомнитесь в моем рукопожатии, то очень обидите старика. Прощайте. Да, еще – крохотный совет: не всверливайтесь глазами во всех и все: ведь если просверлить бочку – вино вытечет, а под обручами только и останется глупая и гулкая пустота.

Ундинг улыбнулся с порога и вышел. Барону подали одеваться. Элегантный секретарь, шмыгнув в комнату, расшаркался и протянул патрону тяжелый портфель. Одернув лацкан фрака, Мюнхгаузен скользнул большим и указательным левой руки по обрезу папок, торчавших из портфеля. Мелькнули: протоколы Лиги Наций – подлинники документы о Брестском мире – стенограммы заседаний Амстердамской конференции, Вашингтонского, Версальского, Севрского и иных, иных и иных договоров и пактов.

Брезгливо сощурилась, барон Мюнхгаузен поднял портфель за два нижних угла и вытряхнул все его содержимое на пол. И пока секретарь и слуга убирали бумажные кипы, барон подошел к терпеливо ожидавшемуся – на ручке кресла – томику в сафьяне; томик нырнул внутрь освободившегося портфеля, звонко над ним защелкнувшегося.

Глава II

Дым делает шум

Сначала под ногами у Ундинга побежали ступеньки, потом сыростью сквозь протертые подошвы асфальт тротуара. За спиной загудело авто барона и, обдав пешехода грязью, метнулось желтым двуглазием сквозь мгlistые весенние сумерки.

Ундинг, наставив воротник пальто, прошагал сквозь гудящую арку, под повисшими в воздухе четырьмя параллелями рельс и по широкой прямой бывшей улицы Короля. Справа прочертились каменные кубы, дуги и навеси дворца. По укатанной шинами стеклистой слизи асфальта тянулись – нитью фиолетовых бус – отражения фонарных огней: с выступов в креп сумерек овитого дворца свешивались, обмокшие в дожде, флаги революции. Затем, справа и слева, мимо глаз чугунные скамьи Унтер-ден-Линден – и навстречу, – утаптывающая бронзовыми копытами воздух, – черная квадрига Бранденбургских ворот.

Идти было не близко. Сквозь длинный Тиргартен и потом по Бисмаркштрассе, мимо десяти перекрестков к окраинной линии Шарлоттенбурга. Влажный и дымный воздух казался дешевой и неискusной подделкой под воздух; вспучившиеся стекла фонарей, казалось, вот-вот легкими пенными пузырями вверх, а на крыши и панель беззвучным обвалом рухнет тьма. Замелькавшие мимо шагов голые деревья Тиргартена напомнили пешеходу об искромсанных снарядами перелесках, потом ассоциации придвинули ближе глаз, внутрь черепа, скрещение фантастических траншейных улиц. Пешеход остановился и, вслушиваясь, думал, что гул города – там, за Тиргартеном, похож на уползающие грохоты артиллерийского боя. Под большим и указательным правой руки, еще помнившей недавнее прикосновение пальцев Мюнхгаузена, вдруг ясно ощутилась, почти обжигая кожу, раскаленная выстрелами сталь ружейного замка.

– Фантасмагория, – пробормотал Ундинг, оглядывая звезды, фонари, деревья и стлань аллей.

Чья-то зыбкая тень, будто ее назвали по имени, несмело приблизилась к поэту. Под обмокшим каркасом шляпы выпяченные голодом и румянами скулы: проститутка. Ундинг отвел глаза и пошел дальше. Вначале он пробовал придумать уменьшительное к имени фантасмагория. Но ни хен, ни лейн не прирастали. Тогда, вслушиваясь в ритм своих шагов, он привычным психическим усилием завращал в себе ассонансы и ритмы, внешний мир для него стал короче полей его фетра, – и немая клавиатура слов зашевелила своими клавишами.

Толчок плечом о чье-то плечо опрокинул строфу: роняя рифмы, поэт поднял глаза, оглядывая улицу. Подъезд его дома оказался пройденным. Вдруг ощутилось: к коленям тяжелыми гириями – усталость. Ундинг с досадой прикинул в уме: два раза по двести – итого четыреста шагов чистой убыли; вот и весь гонорар.

Эрнст Ундинг далеко не каждый день читал газеты. Правда, после прощального разговора с Мюнхгаузеном он натолкнулся на заметку в три строки о члене дипломатического корпуса бароне фон М., выбывшем с экспрессом – по делам, не подлежащим оглашению, – в Лондон. Еще через неделю крупный шрифт газетной депеши сообщал об успешном представительстве фон М. в влиятельнейших сферах Англии. Остальные буквы имени будто проваливались в лондонский туман. Ундинг с улыбкой отодвинул газетный лист. Дальнейшие информации

прошли мимо него: Ундинг простудился и слег, выключившись на пять или шесть недель из всех событий. Когда больной поправился настолько, что мог подойти к окну и раскрыть ему створы, – из-за стекол ударило солнечным весенним воздухом. Снизу, рикошетируя о стены, вперебой голоса газетчиков. Перегнувшись через подоконник, Ундинг услышал – сначала конец выкрика, потом начало, потом все:

– Сенсационно! Барон Мюнхгаузен о Карле Марксе!!!

– Мюнхгаузен о...

Полохнуло ветром. Выздоровливающий сомкнул окно и, трудно дыша, опустился на стул. Губы его, беззвучно шевельнувшись, проартикулировали:

– Начинается.

Тем временем барон Мюнхгаузен, благополучно прибыв в Лондон, был, по его словам, чрезвычайно любезно принят местными туманами. Туманы верно и покорно служили ему. Он умел наполнять ими головы по самое темя ловчее опытной молочницы, разливающей свой товар по бидонам.

«Лошади и избиратели, – говаривал барон в узком дружеском кругу, – если не надеть на них наглазников, непременно вывалят вас в канаву, и я всегда был поклонником теннисовой техники, дающей возможность черному стать белым, а белому породниться с черным: через серое. Нейтральные тона в живописи, нейтралитет в политике, и пусть себе Джоны, Михели и Жаны пучат глаза в туман: что там – луна или фонарь?»

Впрочем, парадоксы эти редко переступали порог трехэтажного коттеджа на Бейсвотер-род, где поселился барон. Дом был нарочно выбран в некотором отдалении от грохочущего Черинг-Кросса, обменивающего людей на людей. Позади коттеджа просторные и не слишком шумные улицы Паддингтона, а из окон верхнего этажа – за длинным извивом ограды, молчаливые аллеи Кенсингтонского парка: зимой – на его деревьях клочьями ваты снег, летом – под его деревьями закапанный чернильными пятнами теней шафранный песок дорожек.

Поселившись здесь, барон Мюнхгаузен прежде всего распорядился перекопать крохотный палисадник, прижавшийся орнаментами своих ковровых цветов и стриженной травы к красным кирпичам дома, и собственноручно насадил семена турецких бобов, привезенных им в особой старинной коробочке на дне дорожного чемодана. Бобы после первых двух-трех поливок со странной быстротой закружили своими спиралями по стене вверх и вверх. Еще в полдень они были на уровне первого этажа, а к вечеру, когда сквозь сизо-коричневый туман прорезался мутный серп луны, тонкие усики зеленых витуш уже дотянулись до окна кабинета в третьем этаже, где хозяин в это время работал, придвинув какие-то старые в бисеринах букв записные тетради к зеленому колпачку лампы. Бобовые спирали повели тонкими нитями усиков, явственно нацеливаясь ими в лунный серп. Но Мюнхгаузен строго оглядел странников и, погрозив пальцем, сказал:

– Опять?

И наутро удивленные прохожие, покачивая головами, созерцали буйную поросль, которая, докружив до самой крыши, вдруг обвисла зелеными спиральными свесами назад к земле. С этого дня дом на Бейсвотер-род прозвали «коттеджем сумасшедших бобов».

Распорядок дня барона Мюнхгаузена подтверждали слова модного американского писателя: «Духовные вожди человечества работают не более двух часов в